

Глава 1

В году одна тысяча девятьсот шестидесятом от Рождества Христова семидесяти восьми лет от роду преставился раб Божий, постоянный и почетный член Государственного совета, его высокоблагородие, полковник армейской пехоты в отставке, флигель-адъютант Свиты Его Императорского Величества и мой многолетний начальник и наставник Туманов Олег Васильевич. Человек незаурядного ума и энциклопедических знаний, он был в гуще всех событий и генерировал многие идеи научно-технического развития России и выбора ею политического пути. И что интересно, если спросить любого человека, кто такой полковник Туманов, тот удивленно пожмет плечами и скажет, да мало ли сколько сейчас полковников. Как в Корее, куда ни кинь палку, обязательно попадешь то в одного, а то и в двух Кимов сразу, потому что в России сейчас полковников столько же, сколько Кимов в Корее.

Что-то писать о своем начальнике я не собирался. Кто я такой? Терентьев Христофор Иванович. Обыкновенный канцелярский служащий. Дослужился до старшего писаря, носил погоны с тремя белыми лычками и думал, чем я буду заниматься, когда закончится срок моей срочной службы. Нет, так не по-канцелярски: срок срочной службы. Лучше: когда закончится срочная служба. Почерк у меня был хороший, писал без ошибок, был расторопным, норов свой не казал, чтобы начальство не сердить, а корешам своим спуску не давал, чтобы не заклевали.

И тут появился он. Молодой штабс-капитан из далекого сибирского города, где он поручиком командовал ротой в губернском казачьем кадетском училище. А с ним пришли и легенды, что он за два дня дослужился от вольноопределяющегося до прапорщика. Что он терял память, а потом все вспомнил, и что он лично известен императорской фамилии, и что он не зря переведен из провинции в столицу. Вот тут я и подумал, что за этого человека нужно держаться двумя руками. Все, что от меня требовалось, это быстро выполнять все поручения и держать язык за зубами. Что я и делал. Перед самой войной я был полковым писарем, это как бы фельдфебель у строевых, затем подпрапорщиком, после войны стал зауряд-прапорщиком, так как был назначен начальником канцелярии на офицерской должности у полковника Туманова, а в отставку вышел уже поручиком с военным пенсионом и правом ношения мундира.

Пришла ко мне вдова усопшего Марфа Никаноровна Туманова-Веселова и передала записки моего бывшего начальника с просьбой разобраться в них и написать при возможности мемуарную книгу так, чтобы люди, знавшие полковника Туманова, вспомнили его, не забывали и рассказывали своим детям об этом замечательном человеке.

— Очень он вас уважал, Христофор Иванович, — сказала Марфа Никаноровна, — да и вы для нас давно стали своим человеком. Есть у меня еще одна мысль, боюсь ее кому-то высказать, кроме вас, но только вы не подумайте чего-то плохого и, если посчитаете ее безумной, то так и скажите.

Марфа Никаноровна была старше моего начальника, но женщины у нас в стране живут намного дольше мужчин, и женщина она умная, образованная, дипломированный врач, людям органы пересаживает, мертвых оживляет, но видно, что боится тех мыслей, какие ее одолевают.

Мне тоже не с руки у нее их выпытывать. Пусть сама решится.

— Сдается мне, Христофор Иванович, — сказала она, — что нет в гробу супруга моего. Все видели, как его хоронили, но вот чувствую я, что нет его в домовине.

— Да где же он может быть? — изумился я. — Не Господь же Бог призвал его к себе в царствие небесное. Душа его давно уже там, а тело брренное в раю совсем не нужно.

— Откуда вы это знаете, Христофор Иванович? — засомневалась Марфа Никаноровна. — Я давно попам нашим не верю. Если бы не они, мы давно бы вперед шагали семимильными шагами и могли выяснить действительное наличие преисподней и царствия небесного.

— Окститесь, Марфа Никаноровна, — остановил я женщину, — это уже похоже на богохульство, а вот на каком основании мы можем проводить эксгумацию супруга вашего покойного, я даже в голову взять не могу.

— А вы почитайте записки супруга моего, тогда и у вас могут закрасься мысли о том, что нужно обязательно удостовериться в том, на месте ли его тело, — сказала Марфа Никаноровна. — Он писал их в году одна тысяча девятьсот пятьдесят девятом, как будто знал, что уже нужно подводить итоги. Я там к каждой части свои пояснения сделала и знаю, что он человек не нашего времени и мог вернуться к себе, в свое время. Вы, человек в разных канцелярских премудростях искушенный, возможно, что-то и придумаете, а кроме как к вам, мне и обратиться с такой просьбой не к кому. Никто же не поверит. Хорошо, если только пальцем у виска покрутят.

Я взял рукопись и заверил женщину, что мы что-нибудь придумаем. В душе я верил ей, потому что начальник мой был человеком особенным. Взять хотя бы тот случай, когда по его просьбе тульские умельцы смастерили патронную ленту для его револьвера. Он сам нарисовал чертеж и разработал проволочное скрепление патронных

звеньев. Зато потом на офицерских соревнованиях он поразил всех, двадцать раз выстрелив из нагана без перезарядки. И он же свое изобретение забросил, как неперспективное. Вдаль человек глядел, а из игрушек всяких потом получают очень даже дельные вещи.

Надо сказать, что мне тоже нужно свои записки о моей работе посмотреть. Когда меня назначили в качестве секретаря к штабс-капитану Туманову, то вызвали меня в секретариат Главного штаба, а там в небольшой комнатке меня ожидал начальник жандармского управления по Главному штабу полковник Петровас Сергей Васильевич. Пригласил присесть, налил стакан чая с сушками и давай ворковать, что я чуть ли не самый лучший унтер-офицер, которому доверили важную задачу по охране и сохранению секретов, известных моему новому начальнику, и что я должен помочь жандармскому управлению в вопросах безопасности и борьбы с ворагами, которые собираются украсть наши секреты.

Что тут сказать полковнику? Не будет же старший унтер-офицер, старший писарь говорить, что типа я не стукач и стучать на своего начальника не собираюсь. Тут моя карьера и была бы спета, уехал бы рядовым куда-нибудь в Туруханский край охранять штабеля дров.

— Так точно, — говорю полковнику, вскочив со стула.

— Да ты сиди, братец, — ласково так говорит он, — настояться еще успеешь. Тут только закавыка такая: мы не можем подойти к его благородию господину Туманову и сказать, что у вас не все в порядке. Нам нужно какое-то основание, а вот этим основанием будет твой сигнал.

— Понял, — сказал я, — а этот сигнал как, свистком или маханием руки подавать?

— Экий какой ты бестолковый, братец, — терпеливо сказал полковник, — сигнал — это записка, написанная тобой, в которой ты подробненько все и опишешь. А я тебе списочек вопросов дам, которые нас интересуют.

— Да как же так? — возмутился я. — Я все напишу, а канцелярские все прочитают, и пойдет обо мне слава, что я на своего начальника доношу. Нет, я так не согласен. Вы вопрос задавайте, я вам все расскажу, а писать ничего не буду. Любой мою бумагу возьмет и скажет, вот он какой старший писарь Терентьев Христофор Иванович.

Я давно понял, к чему клонит полковник, и просто издевался над ним, изображая из себя наивного простачка.

— Да ты не бойся, братец, — уговаривал меня полковник, — никто твою фамилию и имя не узнает, так как ты напишешь другую фамилию.

— Какую другую? — деланно изумился я.

— Какую себе придумаешь, — сказал полковник. — Вот тебе бумага, бери ручку и пиши. Подписка. Я такой-то и такой даю настоящую подписку жандармскому управлению Главного штаба в том, что буду добросовестно сотрудничать в охране государственных и военных секретов. В целях конспирации все свои донесения буду подписывать псевдонимом... А вот сейчас выбирай себе фамилию, — сказал полковник Петровас.

— Любую? — переспросил я.

— Любую, — подтвердил полковник.

— Халтурин, — сказал я.

— Нет, давай другую, — сказал Петровас.

— Чего так? — не понял я.

— Не надо выбирать фамилии террористов, — сказал он.

— Ну, тогда Колумб, — сказал я.

— А это еще что за хрень? — начал свирепеть полковник.

— Ну, я Христофор, а фамилию, значит, придумал Колумб, тот, который Америку открыл, — сказал я.

— Ну, вот что, грамотей, пиши фамилию Разин, раз тебя все на разбойников да на иностранцев тянет, — сказал жандарм.

Я написал и расписался. Полковник расписочку так аккуратно промокнул мягкой бумагой и в папочку положил.

— Запомни, с этого дня ты Разин и не вздумай никому говорить об этом, а то за разглашение государственных секретов ответственность имеется вплоть до каторжных работ.

В течение последующих трех месяцев я трижды встречался с полковником Петровасом и докладывал ему, кто приходил к штабс-капитану Туманову и какие чертежи приносили ему на рассмотрение. Эка невидаль, в канцелярии все это занесено в журналы учета документов, а список посетителей ведется в книге учета. Возьми эти журналы и делай выписки, если так тебе это нужно.

— Это все хорошо, — говорил мне полковник, — но мне нужно знать, какие они речи ведут, как ругают правительство и государя нашего императора с его супругой. Вот что самое главное.

— Понял, — сказал я, — значит, военную тайну мы будем пускать побоку?

— Как это побоку? — встрепнулся полковник. — Давай выкладывай, что там есть по военной тайне.

— Так что, ваше высокоблагородие, — доложил я, — почти все изобретатели оружия и техники не держат язык за зубами и везде хвалятся своими разработками, о чем пишут даже в газетах. А враг не дремлет, — и я многозначительно поднял вверх указательный палец. — Фамилий я не знаю, но слышал, что один изобретатель танка пытается пробиться к его императорскому величеству, а танк-то совершенно негодный. Вот бы его врагу и подсунуть. Пусть они возятся с этими железяками.

— Молодец, Терентьев, — похвалил меня полковник, — давай, бди, наше дело правое и мы победим.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, — отрапортовал я, повернулся и вышел из потайной комнатки в секретариате Главного штаба.

Если бы еще полковник знал, что обо всем я докладывал с санкции его благородия штабс-капитана Туманова. Анализируя действия своего непосредственного начальника, я, безусловно, прихожу к выводу о том, что он был не меньшим специалистом в работе, которой заведовал жандармский полковник Петровас. Но об этом я расскажу попозже, по мере ознакомления с бумагами усопшего и расшифровки моих давних записей.

Еще я размышлял, как будут выглядеть пометки Марфы Никаноровны и мои записи в памятных записках его благородия, и пришел к выводу, что они нужны для того, чтобы показать, что он был не один, что вокруг были близкие ему люди и они видели все происходящее немного с другого ракурса, чем наш друг. С другой стороны, я в этом вопросе не первый. Всем памятен нашумевший роман Ричарда Олдингтона «Смерть героя», где повествование главного героя переплетается с описанием автора, и уже непонятно, кто из них есть кто. Я думаю, что наш читатель тоже разберется в этих вопросах и, если понравится, будет читать мои записи и пометки Марфы Никаноровны. Если они ему не понравятся, то он может их пропустить и ничего не потеряет в дальнейшем прочтении записок его благородия.

Глава 2

— Товарищ курсант, ко мне!

Требовательный командный голос остановил меня в полушаге от здания железнодорожного вокзала в городе Свердловске, бывшем в свое время Екатеринбургом. За моей спиной стоял пехотный капитан с двумя патрульными солдатами.

Четко развернулся кругом, четко подошел, четко доложил о прибытии. Подал для проверки военный билет и отпускное удостоверение.

— Так-так, — приговаривал капитан, просматривая мои документы и особенно отпускное удостоверение со штампом Комитета государственной безопасности. — Почему нарушаете форму одежды? — грозно спросил он.

— Извините, товарищ капитан, — сказал я, — но у меня нет нарушений формы одежды, иначе меня бы не отпустили из училища в каникулярный отпуск.

— Как это нет нарушений формы одежды? — чуть не подпрыгнул капитан. — Почему у вас трехцветные погоны, так как курсантские погоны по всем наставлениям изготавливаются из солдатских погон путем нашивания на них ефрейторского галуна без всяких там малиновых кантов. Где вы взяли неуставной мундир? Всем военнослужащим срочной службы положены полшерстяные мундиры из диагонали, а не мундиры из чистой шерсти.

Похоже, что капитан был из тыловиков и разбирался в качестве мундирного сукна.

— Извините, товарищ капитан, — сказал я, — у нас все училище носит такую форму одежды, так как она была утверждена лично наркомом внутренних дел Берией Лаврентием Павловичем, который лично следил за формой одежды подведомственных ему пограничников. Можете посмотреть на мои погоны, они фабричного изготовления и цвет канта аналогичен цвету канта на моей фуражке.

Крыть капитану было нечем. Уставы у нас общие, а вот все остальные ведомственные документы особые. Так и хотелось сказать ему, что пограничные войска — это щит нашей родины, а все остальные войска — это шурупы в этом щите, но зачем дразнить гусей. В училище это у нас не культивировалось и пришло вместе с армейскими абитуриентами.

Повертев мои документы, капитан с сожалением вернул их мне, а так хотелось поставить на место этого курсанта в зеленой фуражке, да только ошибись он чуть-чуть,

так его могут повести на правез в госбезопасность, благо не так давно люди пропадали без вести в этих органах.

Взяв билет на поезд в воинской кассе, я пошел пообедавать в вокзальный ресторан с огромной дверью высотой метра три, не меньше, но открывавшейся довольно легко.

Сделав заказ на обед в виде борща, отбивной котлеты и стакана чая, я закурил и осмотрелся вокруг. Волноваться мне было нечего. В то время в конце семидесятых годов курсантам военных училищ еще дозволялось посещать рестораны в военной форме. Мой огляд привел к тому, что на ум непроизвольно пришли известные строчки: «В ресторане по стенкам висят тут и там “Три медведя”, “Заколотый витязь”, за столом одиноко сидел капитан...»

Но тут открылась ресторанный дверь и в ресторан заглянула голова капитана из патруля.

— Так быть не может, — запротестовал я. — Капитан не имеет права задерживать меня в ресторане, а песня Высоцкого появилась в шестьдесят шестом году и не была широкоизвестной. А где официантка? Почему она не несет мне заказанный обед.

Я стал озираясь и проснулся. Вокруг было что-то чужое, то есть я не дома и не в училище.

«Как могло так случиться, что я ничего не помню? — пронеслось в моей голове. — Хотя, почему же я не помню? Я все помню. Я шел по улице 10 лет Октября в направлении центра в районе старых домов в самом радужном настроении. Мне двадцать пять лет. Было лето. Я был в отпуске и ходил на свидание с хорошей девушкой. Был до синевы выбрит и слегка пьян. Пьян был не от спиртного, а от хорошего настроения. Внезапно передо мной возникла темная фигура.

— Мужик, огонька не найдется? — спросил он хриплым голосом.

Я достал коробок и сам зажег спичку».

Вспышка селитры была тем самым последним, что я помнил.

Голова была тяжелой, а руки шевелились. Я поднял левую руку, чтобы посмотреть на часы, но на руке не было часов.

«Похоже, что я нарвался на гопников», — снова пронеслись мысли в моей голове. Именно пронеслись, потому что я не мог сам мыслить.

Когда человек мыслит, он как бы проговаривает все то, о чем думает. А сейчас у меня в голове проносятся мысли, но я ничего не говорю. Я пытался вызвать еще какие-то мысли, но они не приходили, и я незаметно для себя уснул.

— Больной, просыпайтесь! — кто-то властно потряхивал мое плечо. Голос был женский, а не девичий, именно женский, женщины, которая уже узнала, что такое власть над мужчиной.

Я приоткрыл глаза и зажмурился от яркого света семилитровой керосиновой лампы, висевшей на высоте примерно двух с половиной метров от пола. В окне на улице была темнота.

«Чего они по ночам людей будят?» — пронеслась мысль в моей голове.

— Больной, просыпайтесь, сейчас вас будет осматривать доктор, — сказала женщина.

Я открыл глаза и увидел доктора в белом халате. Доктор был какой-то странный, седоватый, с бородкой клинышком, в пенсне, и медицинский халат на нем был какой-то старомодный с воротником-стойкой и, по-видимому, с завязками на спине. И что самое интересное, в левом верхнем кармане халата с красным крестом торчала деревянная слуховая трубка. Ну прямо как в кино про старые времена.

«Конечно, — подумал я, — это не слуховая трубка, а деревянный стетоскоп, изобретенный в 1816 году француз-

ским доктором Рене Лаеннеком. Раньше, по методу Гиппократата, врач прикладывал ухо к груди больного человека, чтобы выслушать тоны и биение сердца, но Лаеннек всегда испытывал чувство неудобства, когда ему приходилось прикладывать ухо к груди обнаженной женщины, практически касаясь их губами. И это было бы ничего, но в то время гигиена женщин желала быть лучшей, а у некоторых из них по телу бегали обыкновенные вши. Но откуда я все это знаю, если я никогда не увлекался историей медицины?»

— Здравствуйте, голубчик, — проговорил доктор, ощупывая мою голову. — Как мы сейчас чувствуем? — И, не дожидаясь ответа, попросил медсестру поднять мою рубашку. Затем он взял слуховую трубку-стетоскоп и стал прослушивать область груди, где находится сердце. — Дышите, не дышите, задержите дыхание. Так, очень хорошо, очень хорошо. Ну что же, голубчик, здоровье в порядке. Мускулатура у вас развитая. Никак занимаетесь по системе господина Мюллера? Ссадина на голове заживет в течение нескольких дней, но вы нас здорово напугали, не приходя в сознание в течение трех дней. Мы уже думали, что не сможем с вами побеседовать. Да, как вас звать-величать? И что это за странная одежда на вас? Вы понимаете, что я говорю? Может, вы иностранец? Шпрехен зи дойч?

Доктор еще что-то говорил, а я действительно не мог вспомнить, кто я такой и как меня зовут. Вот так прямо и не помню. Силился вспомнить, и мозг мой не проговаривал ни мое имя, кто я, кто мои родители, где я жил. Какая-то пустота в голове. Единственное, что мне влетело в голову — это старый постулат моего взводного командира в пограничном училище, то есть курсового офицера.

— Запомни, салага, — сказал он мне, висящему на турнике, — сильному спорт не нужен, слабого он погубит.